

Лев Лосев

ПОСЛЕСЛОВИЕ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
«ПУШКИНСКИЙ ФОНД»
МСМХСVIII



С января на сорок дней
мир бедней.

Тучи в шёрстке сохнут
то на волнища, то на обрыве
сорок дней сохнут твоё
из него ощущение.

Ангел сух. Не вост вост.
Мир утоне.

Не сарайс по гребу мочис.
Велозу динис.

Воронам сяд на горе.
Чернила сринуть на бере.

Смер на нулегоре спом.
Бурина беда беда.

8 марта 1996

Лев Лосев

ПОСЛЕСЛОВИЕ

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
«ПУШКИНСКИЙ ФОНД»
МСМХСVIII**

Л 79
ББК 84. Р7

Марка издательства работы
Сергея Семенова

ОТ АВТОРА

В предисловии к своей первой книжке, «Тайный советник» (изд-во «Эрмитаж», США, 1985 г.), я писал, что толчком к моему сочинительству оказался отъезд Бродского из России в 1972 году. Словно сработали какие-то компенсаторные механизмы, и, перестав быть непосредственным свидетелем творчества Иосифа, я незаметно для себя самого стал сочинять собственные стихи. Сочинял, как Бог на душу положит, не думая не только о печати, но, поначалу, и о том, чтобы показать свои сочинения близким. Почти на бессознательном уровне было, однако, одно с самого начала ограничение: все, что в возникавшем стихотворении отдавало Бродским — его интонацией, словарем, остроумием, — отбрасывалось. Дело было не в пресловутом «неврозе влияния», а в очевидной не деликатности, даже комичности, которая сопутствовала бы сочетанию элементов изысканной и трагической поэтики Бродского с моими текстами.

Через несколько недель после смерти Иосифа († 28 января 1996 года) у меня стал возникать цикл стихотворений, прямо или косвенно связанных с его памятью («стихов заупокойный лом»), и в них, против принятого правила, было много от него — его слова, его интонации, иногда прямые цитаты. Почему-то здесь это казалось уместно, может быть, оттого, что одновременно я стал часто видеть его во сне, а между сновидением и стихотворением связь более крепкая, чем думают. Стихи этого периода составляют первый раздел данного сборника.

Потом наплыв заимствований стал проходить, одновременно с тем, что стало расплываться горе утраты и продолжала расти пустота там, где должен был быть Бродский.

18 ноября 1997

Hanover, New Hampshire

I



С января на сорок дней
мир бедней.

Тычась в мертвые сосцы
то ль волчицы, то ль овцы,

сорок дней сосут твое
из него отсутствие.

Агнец стих. Не воет волк.
Мир умолк.

Не скребет по древу мышь.
Всюду тишь.

Воронья стая на дворе.
Чернила стынут на пере.

Снег на мраморе стола.
Бумага белая бела.

8 марта 1996

ХОЛОД (1921—1996)

Я знаю: он родился в сороковом году; он помнить не может.
И все-таки, читая его, я каждый раз думаю: нет, он помнит,
он сквозь мглу смертей и рождений помнит Петербург двад-
цать первого года, тысяча девятьсот двадцать первого лета
Господня, тот Петербург, где мы Блока хоронили, где мы
Гумилева не могли похоронить.

*В. Вейдле**

Веки и губы смыкаются в лад.
Вот он — за дверью,
и уступают голос и взгляд
место забвенью.

Ртуть застывает, как страж на посту —
нету развода.
Как выясняется, пустоту
терпит природа,

ибо того, что оставлено тлеть
под глиноземом,
ни мемуарам не запечатлеть,
ни хромосомам.

Кабы не скрипки, кабы не всхлип
виолончели,
мы бы совсем оскотинились, мы б
осволочели...

Ветер куражится, точно блатной,
тучи мучнисты.
С визгом накручивают одной
ручкой чекисты

страшные мерзлые грузовики
и патефоны,
чтоб заглушать винтовок хлопки
и плач Персефоны.

март 1996—23 декабря 1997

* В. Вейдле «Петербургская поэтика», стр. XXXVI, в кн. Николай Гумилев, Собрание сочинений в четырех томах, т. 4, Вашингтон, изд. книжного магазина Victor Kamkin, Inc., 1968.



Коринфских колонн Петербурга
прически размякли от щелока,
сплетаются с дымным, дремотным,
длинным, косым дождем.
Как под ножом хирурга
от ошибки анестезиолога,
под капитальным ремонтом
умирает дом.

Русского неба буренка
опять ни мычит, ни телится,
но красным-красны и массовы
праздники большевиков.
Идет на парад оборонка.
Грохочут братья камазовы,
и по-за ними стелется
выхлопной смердяков.

4 апреля 1996
Eugene



Включил ТВ — взрывают домик.
Раскрылся сразу он, как томик,
и пламя бедную тетрадь
пошло терзать.

Оно с проворностью куницы
вмиг обежало все страницы,
хватало пищу со стола
и раскаляло зеркала.

Какая даль в них отражалась?

Какое горе обнажалось?

Какую жизнь сожрала гарь —
роман? стихи? словарь? букварь?

Какой был алфавит в рассказе —

наш? узелки арабской вязи?

иврит? латинская печать?

Когда горит, не разобрать.

30 апреля 1996

Eugene



На кладбище, где мы с тобой валялись,
разглядывая, как из ничего
полуденные облака валялись,
тяжеловесно, пышно, кучево,

там жил какой-то звук, лишенный тела,
то ль музыка, то ль птичье пить-пить-пить,
и в воздухе дрожала и блестела
почти несуществующая нить.

Что это было? Шепот бересклета?
Или шуршало меж еловых лап
индейское, вернее бабье, лето?
А то ли только лепет этих баб —

той с мерой, той прядущей, но не ткущей,
той с ножницами? То ли болтовня
реки Коннектикут, в Атлантику текущей,
и вздох травы: «Не забывай меня».

5 мая 1996
Eugene



За голландские гульден-деньги покажет нам ван ден Энге,
как долго, почти полдня,
разглаживал ветер ленивые складки флага.
Из четырех стихий он не любил огня,
был равнодушен к земле. Но воздух зато! но влага!

А вечер на рейде на флейте играет сигнал тишины.
По берегу шляется списанный на берег пьяница-дождик.
Лоскутная азбука пестрых флажков: «Сожжены
корабли, в непрозрачную землю зарыт художник».



Где воздух «розоват от черепицы»,
где львы крылаты, между тем как птицы
предпочитают по брусчатке пьянцы,
как немцы иль японцы, выступать;
где кошки могут плавать, стены плакать,
где солнце, золота с утра наляпать
успев и окунув в лагуну локоть
луча, решает, что пора купать, —
ты там застрял, остался, растворился,
перед кофейней в кресле развалился
и затянулся, замер, раздвоился,
уплыл колечком дыма, и — вообще
поди поймай, когда ты там повсюду —
то звонко тронешь чайную посуду
церквей, то ветром пробежишь по саду,
невозвращенец, человек в плаще,
зека в побеге, выход в зазеркалье
нашел — пускай хватаются за колья, —
исчез на перекрестке параллелей,
не оставляя на воде следа,
там обернулся ты буксиром утлым,
туч перламутром над каналом мутным,
кофейным запахом воскресным утром,
где воскресенье завтра и всегда.

9 мая 1996

Eugene



Инициалы — Л. Г. (Л. К.),
крылья сложив на манер мотылька,
чуть вздрагивают, легки,
на левом плече строки.

Название (скажем, «Кафе Триест»)
рассеянным взглядом глядит окрест
и видит черную печку, бар,
фото на стенках, пар

от кофеварки. Как некий тиран,
стихотворение по вечерам
сюда приходит и стул берет,
и крепкий свой кофе пьет.

И жидкость черная горяча,
и вспархивают с его плеча
инициалы Л. К. (Л. Г.)
и летят налегке

над электронной долиной теней.
Их тени — незримы, его — длинней
долины. Они улетают прочь,
и наступает ночь.

*29 мая 1996
San Francisco*



Нине

А в Псковской области режутся сеголетки.
Мертв тот, кто птичку выпускал из клетки.
Но семят пушинки тополей
нечернозем полей.

Он на лошадке цвета шоколадки
катался без дорог,
и цоканье копыт его лошадки
отцеживалось в местный говорок.

Одна из необъединенных наций,
дождь третий день висит, как полицай,
и если кто у них горацій,
так только цай.

Одна из наций, вдрызг разъединенных,
не ведавших об оденах и доннах,
не зван, но он
звучит, когда душа отглаголала,
отлитый из латинского металла
в долине звон.

22 июня 1996



Научился писать, что твой Случевский.

Печатаюсь в умирающих толстых журналах.

(Декадентство экое, александрийство!

Такое бы мог сочинить Кавафис,

а перевел бы покойный Шмаков,

а потом бы поправил покойный Иосиф.)

Да и сам растолстел, что твой Апухтин,

до дивана не доберусь без одышки,

пью вместо чая настой ромашки,

недочитанные бросаю книжки,

на лице забыто вроде усмешки.

И когда кулаком стучат ко мне в двери,

когда орут: у ворот сарматы!

оджибуэи! лезгины! гои! —

говорю: оставьте меня в покое.

Удаляюсь во внутренние покои,

прохладные сумрачны палаты.

9 августа 1996

ТАЙНЫЙ ОТЕЛЬ: ПРИГЛАШЕНИЕ

Евгению Рейцу, с любовью

Ночью с улицы в галстук, шляпе, плаще.
На кровати в гостинице навзничь — галстук, шляпа,
ботинки.

В ожиданье условного стука, звонка и вообще
от блондинки, брюнетки... нет, только блондинки.

Все внушает тревогу, подозрение, жуть —
телефон, занавеска оконная, ручка дверная.
Все равно нет иного черно-белого рая,
и, конечно, удастся туда убежать, ускользнуть, улизнуть.

Шевелящимся конусом света экран полоща,
увернемся, обманем погоню, с подножки соскочим
под прикрытием галстука, шляпы, плаща,
под ритмичные всплески неона в стакане со скотчем.

Дома дым коромыслом — комоды менты потрошат,
мемуарная сволочь шипит друг на дружку: не трогай!
Тихо в тайном отеле, только тонкие стены дрожат
от соседства с подземкой, надземкой, железной дорогой.

10—11 декабря 1996



Последняя в этом печальном году
попалась мыслишка, как мышка коту...

Обратно на свой залезаю шесток,
ее отпускаю бежать на восток,
но где ей осилить Атлантику! —
силенок не хватит, талантику.

Мой лемминг! Смертельная тяжесть воды
навалит — придется соленько,
и луч одинокой сверхновой звезды
протянется к ней, как соломинка.

1—5 февраля 1997

АРХИПЕЛАГ

Янгфельдтам

Дабы лазурь перекрещивал кадмий,
ветер гуляет стервец стервецом,
свет облакам выделяя — блокадный
тусклый урезанный рацион.

Все мы собою в таком околотке
изображаем смешную беду
подлой — нет, бедной! — советской подлодки,
в шхерах застрявшей у всех на виду.

Что ж, с днем рождения! — примем лекарство
горького шнапса — на миг исцелит,
ибо вокруг нас — небесное царство,
хвойная память, вечный гранит.

Берег с морщиной, прорезанной льдиной,
так и застыл со времен ледника,
сплошь обрастая мхом, как щетиной
мертвая обрастает щека.

24 мая 1997

Стокгольм

4, RUE REGNARD

V. S.

Здрате стены, впитавшие стоны страсти,
кашель, русское «бля» из прокуренной пасти!
Посидим рядком
с этим милым жильем, года два неметенным,
где все кажется сглажено монотонным
тяжким голосом Музы, как многотонным
паровым катком.

Человек, поживший в такой квартире,
из нее выходит на все четыре,
не глядит назад,
но потом сворачивает налево,
поелику велела одна королева,
в Люксембургский сад.

А пока в Одеоне Пьеро с Труффальдино
чепушат, запыленная зеркала льдина
отражает сблизити
круглобокий диван, — приподнявшись на ластах,
он чего-то вычитывает в щелястых
жалюзи.

Здрате строфы ставень, сведенные вместе,
параллельная светопись с солнцем в подтексте,
в ней пылинок дрожь.
Как им вольно вращаться, взлетать, кувыркаться!
Но потом начинает смеркаться, смеркаться,
и уже не прочтешь.

4 июня 1997

Париж

РИМСКИЙ ПОЛДЕНЬ

Три пчелы всё не вытащат ног из щита Барберини,
или, как срифмовал бы ты, в Риме бери не
хочу вечных символов, эмблем, аллегорий и др.
В вечной памяти нет прорех, пробелов и дыр.

Оседлал облака, что приснятся тебе и Ламарку,
император, себя воплотивший в коренастую арку,
Тит, который ходил молотить наших пращуров в Иудее.
С раскоряченным всадником сходны мраморные затеи.

Так на облачном белом коне триумфатор въезжает на Форум,
чтобы сняться с туристами. А другой император, с которым
у тебя больше общего, в окруженьи пятнистого дога,
утешает нас тем, что жизнь не имеет итога.

Это я просто так, чтобы время убить, для порядку.
Вот невзрачная бабочка совершает промашку
и мешает писать, совершая посадку на эту тетрадку,
принимая ее за большую ромашку.

*9 июня 1997
Fogo Romano*

PIETÀ

Мертвый мрамор,
обвисший с отверделых
от горя мраморных колен.

Мраморный зрачок
не реагирует на свет, но вспышка
за вспышкой всё продолжают пробовать — а вдруг! —
японцы, немцы...

13 июня 1997

Рим

II

ВИД ПЕТЕРБУРГА

И когда войдешь в город,
встретишь сонм пророков...
1 Царств, X, 5

Повинуясь чугунной бабе,
разверзаются хляби,
но символом надежды сияет золото блях.
Распускаются ангелы на золотых стеблях.
А фаворского света в небе,
что жмыха в блокадном хлебе.

май-июль, 1997

СОН О ЮНОСТИ

Л. Виноградову

Вдруг в Уфлянд сна вбегают серый волф.
Он воеет джаз в пластмассовый футлярчик,
яйцо с иголкой прячет в ларчик
и наизусть читает Блока «Цвѣльф».

Я в этом сне бездомным псом скулле,
но юра нет, а есть лишь снег с водою,
и я под ужас джаза вою,
вовсю слезу володя по скуле.

Тут юности готический пейзаж,
где Рейн ярится и клубится Штейнберг,
картинкой падает в учебник
«родная речь» для миш, серѣж, наташ,

вить, рит (рид) и др., чей цвет волос соломен...
Но в лампе сна всегда нехватка ватт.
Свет юности непрост, ерёмен
и темноват.

4 июля 1997

ВОЗВРАЩЕНИЕ С САХАЛИНА

Мне 22. Сугроб до крыши.
«Рагу с козлятины» в меню.
Рабкор, страдающий от грыжи,
забывший застегнуть мотню,
ко мне стучит сто раз на дню.

Он говорит: «На Мехзаводе
станки захлामीли хоздвор.
Станки нуждаются в заботе.
Здесь нужен крупный разговор».
Он — раб. В глазах его укор.

Потом придет фиксатый Вова
с бутылью «Спирта питьевого»,
срок за убийство, щас — прораб.
Ему не хочется про баб,
он все твердит: «Я — раб, ты — раб».

Зек философствует, у зека
сверкает зуб, слезится веко.
Мотает лысой головой —
спирт душу жжет, хоть питьевой.
Слова напоминают вой.

И этот вой, и вой турбинный
перекрывали выкрик «Стой!
Кто идет?», когда мы с Ниной,
забившись в ТУ полупустой,
повисли над одной шестой.

Хоздвор Евразии. Текучки
мазутных рек и лысых льдов.
То там, то сям примерзли кучки
индустриальных городов.
Колючка в несколько рядов.

О как мы дивно удирали!
Как удалялись Норд и Ост!
Мороз потрескивал в дюрале.
Пушился сзади белый хвост.
Свобода. Холод. Близость звезд.

НЕГРЕЗВОСТЬ

«В левом углу, чуть правее... да-да,
где вместо елки стоит пустота,
рядом на полке портрет Соловьева
с дикою зарослью в области рта».

«Я ничего там не вижу такого
в области автора „Антихриста”.

Свет бы включить — не видать ни черта!»

«Видишь, где Фрейда обложка тверда
рядом с приятными бреднями Юнга,
как бы проблескивает черта —

это стекает время, как слюнка
из приоткрытого спящего рта».

«Где ты набрался подобных химер?»

«В детстве, должно быть, когда, например,
нас обучали вальсу-бостону,
а приучили к музыке сфер».

«Вас научили мечтанью пустому,
а с алкоголем полегче бы, сэр!»

«Спирт задубелый со льдом и водой
перемешаю, и псевдосвятой
мне улыбнется в своем ледерине...»

«Не уходи, не... Куда ты? Постой!»

«Я уплываю на призрачной льдине,
руководимый незримой звездой».

РАСТЕРЯННОСТЬ

С Уфляндом в Сан-Франциско
сiju в ресторане «Верфь».
Предо мной на тарелке червь,
розовый, как сосиска.

Я не знаю, как съесть червя.
Ему голову оторвя?
или, верней, оторвав?
засучив рукав?

с вилкой выскочив из-за угла?
приговаривая: «Была
не была!»? посолив?
постным маслом полив? поперчив?

Я растерян.
Уфлянд стыдлив.
Червь доверчив.



Взять бы по-русски — в грязь да обновую,
плюхнуться в мрак ледяной!
Все просадить за восьмерку бубновую
окон веранды одной.

Когти рвануть из концлагеря времени,
брюхом и мордой к земле,
да ледорубом бы врезать по темени
тезке в зеркальном стекле.

Ночь догоняет меня на бульдозере.
Карта идет не ко мне.
Гаснут на озере красные козыри,
золото меркнет в окне.

КРОВЬ

Кто Кавказский хребет перевалит служить,
Быть тому с той поры дворянином.

Случевский

Ходу тебе, продвижения нет
в мире равнинном.
Перевалил за Кавказский хребет —
стал дворянином.

Как хорошо государь рассудил:
боец не грубеет.
Ежели крови своей не щадил,
кровь голубеет.

Стали бойцы за суровый поход
сталью из жести.
Входит война в генетический код
кодексом чести.

Битвы в горах распрямили твой взгляд,
рабское выжгли
(только вот жаль, что живьем из засад
все-то не вышли).

День посчитали нам за три денька
правильно, право,
и для потомства вошла в ДНК
русская слава.

Наша сивуха, пройдя змеевик
Военно-Грузинской,
облагородилась, стала навек
Божьей росинкой.

1988

ОФИЦЕР

Перед собой кто смерти не видал,
Тот полного веселья не вкушал.

Пушкин

Стихотворствуй по-кавказски —
внахлест, с галопа, на скаку.
Не перечь своей закваске,
не потворствуй языку.

Возвращаясь из похода,
доставай свою тетрадь.
Офицерская порода,
кругом кирилловская рать.

Как казаки на биваке,
они расселись, гомоня.
Что ж вас, буквы на бумаге,
так немного у меня.

Но чуть притронусь к поставцу я,
заулыбаются: добро!
И красуется, гарцуя,
вечное перо.

1988

В ПОМПЕЕ

Во прахе и крови скользят его колена.
Лермонтов

Растут на стадионе маки,
огромные, как пасть собаки,
оскаленная со зла.
Вот как Помпея проросла!

По макам ветер пробегает,
а страх мне спину прогибает,
и, первого святого съев,
я думаю: зачем я Лев?

Я озираюсь воровато,
но мне с арены нет возврата,
и вызывает мой испуг
злорадство в римском господине
с дурманом черным в середине,
с кровавым венчиком вокруг.

1988

СЕРДЦЕБИЕНИЕ

Меж топких берегов извилистой реки...
Полонский

Где леса верхушки глядят осовело,
когда опускаешь весло,
где двигалось плавно, но что-то заело,
застряло, ко дну приросло
(сквозь сосны горячее солнце сочилось,
торчали лучи наискось,
но смерклось, исчезло, знать, что-то случилось,
печальное что-то стряслось),
его сквозь себя пропускают колхозы,
пустые поля и дома
уткнуться, где гнутся над омутом лозы,
где в омуте время и тьма.

1988



Что сквозит и тайно светит...
Тютчев

Как, зачем в эти игры ввязался,
в это поле-не-перекати?
Я не знаю, откуда я взялся,
помню правило: взялся — ходи.

Помню родину, русского Бога,
уголок на подгнившем кресте
и какая сквозит безнадега
в рабской, смирной Его красоте.

1997



Из Фета

*Перекресток, где ракетка
стынет в снежном сне,
да простая, как открытка,
видимость в окне:*

*праздник — полкило сарделек,
на бутылке щит,
и мычит чего-то телек,
видик верещит.*

*После стольких лет утруски
что ответишь тут
на простой вопрос по-русски:
как тебя зовут?*

1997

РОМАН

Я вложил бы в Роман
мозговые игры былых времен,
в каждой Фразе до блеска натер бы паркет,
в Главах было бы пусто и много зеркал,
а в Прологе сидел бы старый швейцар,
говорил бы мне «барин» и «ваше-ство»,
говорил бы: «Покеда пакета нет».

И пока бы паркет в Абзацах сверкал,
зеркала, не слишком, но рококо,
отражали бы окна, и в каждом окне,
а вернее, в зеркальном отраженье окна,
над застылой рекой поднимался бы пар
и спешили бы люди в солдатском сукне,
за рекой была бы больница видна,
и письмо получалось бы под Рождество.

И Конец от Начала бы был далеко.

«ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ»

Я книгу нашел! Там в какой-то столовой,
прохладной, как ухо врача,
возилось чудовище тучи лиловой,
вспухая, вздыхая, ворча,

там сколько могли от больного скрывали,
что пульса и музыки нет.
Настройщик порылся, порылся в рояле
и вытащил черный предмет —

и вдруг окатило всех мокрой сиренью,
и вспыхнул на маковках крест,
и новые власти прочли населению
такой золотой манифест,

что в даль протянулись растений волокна
и птицей запрыгала близь,
и все отраженные зеркалом окна
на книжной странице зажглись.

БЕГЛОСТЬ

Педали пели: да!
и клавиши визжали,
как будто вдруг беда
и с дачи уезжали.
«Ну, всё, иди... вернись!»
Стучали в двери ванной.
По лестнице вверх-вниз,
по деревянной.

Как кожан чемодан!
Как денежка бумажна!
«Не знаю, чем отдам...»
«Отдашь, не важно...»
Неси меня, такси,
вдоль хляби моря,
так удирает си
от ля-бемоля.

Нет нот, но ты не те-
ург. Ты не Скрябин.
Пусть не на той плите
этюд состряпан,
пусть серою вонял
пыл пекл,
но весел был финал,
был бегл.

ПАМЯТИ МИХАИЛА КРАСИЛЬНИКОВА

Песок балтийских дюн, отмытый добела,
еще хранит твой след, немного косолапый.
Усталая душа! спасибо, что была,
подай оттуда знак — блесни, дождем покапай.

Ну, как там, в будущем, дружище футурист,
в конце женитьб, и служб, и пересыльных тюрем?
Давай там встретимся. Ты только повторись.
Я тоже повторюсь. Мы выпьем, мы покурим.

Ведь твой прохладный рай на Латвию похож,
но только выше — за закатными лучами.
Там, руки за спину, ты в облаке бредешь,
привратник вслед бредет и брякает ключами.

18 сентября 1997

ЖЕЛЕЗО, ТРАВА

Во травы narосло-то, пока я спал!
Вон куда отогнали, пока я пригрелся, —
пахнет теплым мазутом от растресканных шпал,
и не видно в бурьяне ни стрелки, ни рельса.

Что же делать впросонках? Хватить ерша,
смеси мертвой воды и воды из дурного копытца?
В тупике эволюции паровоз не свистит, и ржа
продолжает ползти, пыль продолжает копиться.

Только чу! — покачнулось чугунной цепи звено,
хрустнув грязным стеклом, чем-то ржавым звякнув железно,
сотрясая депо, что-то вылезло из него,
огляделось вокруг и, подумав, обратно залезло.

20 сентября 1997

«Я И СТАРАЯ ДАМА» (Норвич, 1987—1997)

Жертва козней собеса, маразма, невроза,
в сальном ватнике цвета «пыльная роза»,
с рюкзаком за спиной, полным грязного хлама,
в знойный полдень проходит под окном моим дама.
Так задумчиво, что и жара ей не в тягость.

Десять лет (т. е. лет — с июня по август)
после утренних лекций под окном ровно в полдень
наблюдал я цветочек этот Господень.
Будь я Зоценкой, Шварцем или Олешей,
я б сумел прочесть в этой всаднице пешей,
в этом ангеле, бледном от серого пота,
сладкозвучный оракул: «Ницета есть свобода».

Только где те писатели? где тот оракул?
где то чтение знаков? где тот кот, что наплакал
веры? Нету. Писатели тихо скончались.
Вместе с ними религия, психоанализ,
символизм и вермонтская летняя школа.
Лишь осталась картина, на манер протокола —
занесенная в память: «Я и старая дама».

Обрамляет картину белая рама
от упавшего в прошлое чужого окна.

И другая картина пока не видна.

6 января 1998

III

СОРОКОВОЙ ДЕНЬ

Иосиф любил вспоминать, как однажды в юности он вернулся домой из каких-то романтических скитаний, грязный, небритый и, наверное, с тем рассеянным выражением на лице, которое так огорчает родителей непутевых подростков. Отец сделал жест в его сторону и воскликнул с ироническим восторгом:

— Полюбуйтесь, гражданин мира!

Это выражение хорошо помнили в те времена в еврейских интеллигентных семьях. Особенно в его греческой форме: космополит. Еще недавно, при Сталине, «безродными космополитами» пропаганда называла евреев и делала это так, что под евреями можно было понимать всех, кто ценит свободу личности и общечеловеческую культуру. Словосочетание долго вдалбливали в советские головы, и оболваненные люди полагали, что «безродный-космополит» — это единое слово, понятие, как «перекати-поле». Александр Ива-

нович Бродский был из тех немногих, кто еще помнил подлинное значение слова. Его сыну предстояло стать первым в двадцатом веке русским по рождению гражданином мира. (Слава Богу, отец прожил достаточно долго, чтобы это увидеть.)

Гражданином мира делает человека принадлежность к мировой культуре. Так, по крайней мере, объясняет нам Достоевский: «Нельзя более любить Россию, чем люблю ее я, но я никогда не упрекал себя за то, что Венеция, Рим, Париж, сокровища их наук и искусств, вся история их — мне милей, чем Россия» («Подросток», ч. 3, гл. 7, III). То есть Версиров у Достоевского космополит, но не безродный. Он родину, Россию, любит очень сильно, но Венеция ему милее. Так и Бродский никогда не забывал, что он

...родился и вырос в балтийских болотах, подле серых цинковых волн, всегда набегавших по две, и отсюда — все рифмы, отсюда тот блеклый голос, выходящий между ними...

Ни в чем мы так не расходимся с другими, как в оценке собственного голоса. Они, другие, слышат его в акустике комнат и улиц и пр., а мы всегда под сводами собственного черепа. Поразительно, что Иосифу собственный голос казался «блеклым». При том, что он писал это, уже прочитав, как высказалась о его голосе Н. Я. Мандельштам. Ядовитая скептическая писательница, о неповторимом голосе Бродского даже она написала с удивлением и восторгом: «Это не человек, а духовой оркестр...»

Должен признаться, что на меня голос Иосифа всегда производил отчасти гипнотическое воздействие. Раздавался звонок, я говорил свое «Алло», он по общепринятому телефонному зачину произносил мое имя со слегка вопросительной интонацией. Обычно он использовал форму, которую мы почему-то называем уменьшительной, хотя она по числу слогов в три раза длиннее паспортного имени: «лёше-чка». Звучало это, однако, совсем не как «ложечка», «кошечка» или «чашечка», а скорее как начальный аккорд

оркестровой пьесы — в основном струнные, но слышны и духовые. Последний слог звучал как рыболовный крючок (наплевать, что метафора нелепа), на который я и попался. Гипнотизм заключался не в том, что я впадал в какой-то там транс, муть и беспометство. Напротив, счастье разговора с Иосифом состояло прежде всего в ясности беседы, «озарившей все углы сознания». К тому же по большей части он звонил, чтобы почитать стихи — свои или полученные от Уфлянда. Только повесив трубку, не сразу, иногда много позже, я вспоминал, что Иосиф так и не ответил на такие-то и такие-то казавшиеся мне важными вопросы. Более того, что я их не задал, хотя собирался задать обязательно. Иначе как сверхъестественной способностью блокировать в сознании собеседника неинтересные ему, Иосифу, темы я это объяснить не могу.

В определенном возрасте становится страшно поднимать телефонную трубку: вместо неповторимого голоса можно услышать другой, который сообщит о смерти. И что меня дернуло лет десять тому назад закончить маленькое стихотворение, посвященное ирландскому виски «Bushmills» (мне когда-то присоветовал его Иосиф), так:

А чем прикажешь поминать —
молчаньем русских аонид?
А как прикажешь понимать,
что страшно трубку поднимать,
а телефон звонит?

(Вообще я не суеверен и не люблю натянутых совпадений. Первого февраля перед заупокойной службой мы читали в бруклинской церкви стихи Бродского. Я выбрал «Сретенье». Потом мне кто-то сказал, что первое февраля по старому стилю как раз и было бы Сретеньем. Я после проверил в православном календаре — не совсем так, это будет в следующем веке, когда юлианский и григорианский календари разойдутся еще на один день. Кстати, листая календарь, я решил заодно посмотреть, какого святого празднует восточная церковь в день рождения Иосифа, 24 мая. Оказалось, что не одного, а двух — Кирилла и Мефодия.)

Умолкнувший голос — вот как мы осознаем смерть близкого человека.

Умолк вчера неповторимый голос
И нас покинул собеседник рощ.
Он превратился в жизнь дающий колос
Или в тончайший, им воспетый дождь, —

так оплакивала Ахматова Пастернака. Нигде у Бродского его представление о взаимоотношениях человека и Всевышнего не выражено так непосредственно, как в стихах «На столетие Анны Ахматовой».

Страницу и огонь, зерно и жернова,
секиры острие и усеченный волос —
Бог сохраняет все; особенно — слова
прощенья и любви, как собственный свой голос.

В них бьется рваный пульс, в них слышен
костный хруст,
и заступ в них стучит; ровны и глуховаты,
поскольку жизнь — одна, они из смертных уст
звучат отчетливей, чем из надмирной ваты.
Великая душа, поклон через моря
за то, что их нашла, — тебе и части тленной,
что спит в родной земле, тебе благодаря
обретшей речи дар в глухонемой Вселенной.

Сложный синтаксис последней строфы приходится расшифровывать нерусским читателям, но это поразительно красивая каденция, и в звуковом отношении и в семантическом — строфа начинается с души, кончается Вселенной, и в середине этого космоса русская земля, в которую зарыто тело Ахматовой. Бродского кое-кто не без эпатажа, но и не без пронизательности сравнивал с Маяковским. Сходство, видимо, в космической устремленности поэтической мысли, метафоры. Глухонемую вселенную мы помним и у Маяковского, глухую — у Пастернака. Но там она молчит, потому что действительно, что ей, Вселенной, ответить на инфантильные шуточки: «Эй, вы! Небо! Снимите шляпу! Я иду!» Бродский, напротив, никогда не бывал так серьезен, как

здесь, когда он говорит, что поэт озвучивает, осмысливает Вселенную словами прощенья и любви.

(Знакомый журналист рассказывал мне, как он брал интервью у Татьяны Яковлевой, которая знала если не всех великих людей двадцатого века, то, по крайней мере, тех из них, кто бывал в Париже или в Нью-Йорке, т. е. почти всех. Неожиданно она сказала: «Но настоящих гениев я встречала в жизни только двух — Пикассо...» Спрашивать, кто второй, у женщины, вошедшей в историю литературы как великая любовь Маяковского, мой знакомый не считал нужным, но она закончила фразу: «...и Бродский».)

Американский литературовед Дэвид Бетеа назвал свой труд «Иосиф Бродский и создание изгнания». По-русски звучит нехорошо (может быть, «сотворение чужбины»?). Под «изгнанием» автор имеет в виду не просто вынужденную жизнь вдали от родины, а нечто большее — изгойство, отдельность большого художника не только от своего народа, но и от всякой системы человеческих отношений, за исключением языка, и он прав в основном тезисе: Бродский сам был творцом своей литературной и человеческой судьбы. Парадокс, вернее, драматизм творчества Бродского состоит, однако, в том, что сквозь «целый мир — чужбину» у него постоянно сквозит «целый мир — родина». Это проявляется в очевидно невольных переключках разделенных годами текстов. «Громады зданий, лишённые теней, с окаймлёнными золотом крышами, выглядят хрупким фарфоровым сервизом», — писал он о Ленинграде, и много лет спустя он пишет о Венеции: «Зимой просыпаешься в этом городе, особенно по воскресеньям, под звон бесчисленных колоколов, как будто за тюлем твоих занавесок в жемчужно-сером небе дрожит на серебряном подносе громадный фарфоровый чайный сервиз».

Смерть — это то, что бывает с другими, —

писал Бродский в молодости, завершая, формулируя с лапидарной окончательностью этот мотив из русской философской традиции. У Толстого это отказ Ивана Ильича

подставлять себя в силлогизм: все люди смертны; Кай — человек; следовательно, Кай смертен. Бахтин говорил: «...о другом... пролиты все слезы, ему поставлены все памятники, только другими заполнены все кладбища».

Но «другость» других подлежит преодолению.

В последней книге Бродского, «О скорби и разуме», есть удивительное эссе — «Письмо к Горацию». Читая его, невозможно избавиться от ощущения, что обращение к римскому поэту не прием, что писавший действительно верил в то, что обращается к Горацию. И одновременно к другому любимому поэту — Одну, поскольку среди прочего в письме излагается странная идея метемпсихоза: Оден — воплощение Горация в двадцатом веке. Представление об избирательном средстве вплоть до полной слитности было глубоко укоренено в поэтическом сознании Бродского. «Мы похожи;/мы в сущности, Томас, одно...» — писал он, обращаясь к литовскому другу-поэту. Смерть не разбивает такого рода отождествлений. Сам Бродский, цитируя «Жизнь и смерть давно беру в кавычки,/Как заведомо пустые сплёты», пишет, что «Цветаеву всегда следует понимать именно не фигурально, а буквально — так же, как, скажем, и акмеистов». Цветаева «не фигурально, а буквально» обращалась в 1927 году к умершему Рильке, а Оден в 1936 году к лорду Байрону.

Через сорок дней после Рождества отмечается Сретение, внесение младенца Христа в храм. Через сорок дней после смерти человека, согласно традиции, душа его окончательно переселяется в горный мир. «Да отверзется дверь небесная днесь...» — говорится в сретенском богослужении, а любимый Иосифом Марк Аврелий писал так: «Подобно тому как здесь тела, после некоторого времени пребывания в земле, изменяются и разлагаются и таким образом очищают место для других трупов, точно так же и души, нашедшие прибежище в воздухе, некоторое время остаются в прежнем виде, а затем начинают претерпевать изменения, растекаются и возгораются, возвращаясь обратно к семенообразному разуму Целого...». Иосиф откликнулся на это «освобождением клеток от времени».

Небеса, воздух и воспарение души, неотделимое от личной смерти: от «Большой элегии Джону Донну» (едва ли и не раньше) — это постоянный мотив в поэзии Бродского. Его чистейшее воплощение — «Осенний крик ястреба». Минуя богатую русскую и европейскую традицию развития этого мотива, Иосиф отталкивается от первоисточника, от Горациевой оды (Оды. Книга 2, Ода 20):

Уже чую: тоньше становятся
Под грубой кожей скрытые голени —
Я белой птицей стал, и перья
Руки и плечи мои одели.

Летя быстрее сына Дедалова,
Я, певчий лебедь, узрю шумящего
Босфора брег, заливы Сирта,
Гиперборейских полей безбрежность.

Меня узнают даки, таящие
Свой страх пред римским строем, колхидяне,
Гелоны дальние, иберы,
Галлы, которых питает Рона.

В «Письме к Горацию» Бродский говорит: «В то время, когда Вы это писали, у нас, видите ли, еще и языка-то не было. Мы еще не были мы, мы были гелоны, геты, будины и т. п., просто пузыри в генетическом котле нашего будущего». Сходно откликнулся на Горация Пушкин: «И гордый внук славян, и финн, и ныне дикий тунгус...» Так сложилось, что в последние недели жизни Бродский много думал о Пушкине.

(Почему у меня не получается писать о тебе в жанре некролога или причитания? Почему эти заметки отдают «литературоведческим» материалом? Один из твоих любимых рассказов: «Умерла пожилая преподавательница ленинградского филфака И. На похоронах попросили выступить ее ближайшую подругу. Старушка долго не могла начать от душивших ее слез. Потом прерывающимся голосом сказала: „Любовь Лазаревна была замечательным чело-

веком... Всю жизнь она посвятила изучению английских неправильных глаголов..." И тут голос ее стал крепнуть: „Английские неправильные глаголы можно разделить на следующие три основные категории..."».)

Так сложилось, что в последние недели жизни Бродский перечитывал Пушкина. В предпоследнем нашем телефонном разговоре он говорил о прозе Пушкина, объяснял ее стиль «изнутри», от психомоторики — движения пера с быстро на нем сохнувшими чернилами по бумаге, соотносил краткость пушкинской фразы с небольшой шириной писчего листа. Об этом же он написал интересное письмо своему орегонскому другу Джиму Райсу. Выкладывал по телефону те же соображения Юзу Алешковскому, Петру Вайлю. У Вайля Иосиф спросил, помнит ли он слова, которыми начинается «История села Горюхина», и, веселясь, процитировал: «Если Бог пошлет мне читателей...»

5 марта 1996

(«Новое русское слово», 8 марта 1996)

СОДЕРЖАНИЕ

От автора	5
---------------------	---

I

«С января на сорок дней...»	9
Холод	10
«Коринфских колонн Петербурга...»	11
«Включил ТВ — взрывают домик...»	12
«На кладбище, где мы с тобой валялись...»	13
«За голландские гульден-деньги...»	14
«Где воздух „розоват от черепицы“...»	15
«Инициалы — Л. Г. (Л. К.?)...»	16
«А в Псковской области режутся сеголетки...»	17
«Научился писать, что твой Случевский...»	18
Тайный отель: приглашение	19
«Последняя в этом печальном году...»	20
Архипелаг	21
4, Rue Regnard	22
Римский полдень	23
Pietà	24

II

Вид Петербурга	27
Сон о юности	28
Возвращение с Сахалина	29
Нетрезвость	30
Растерянность	31
«Взять бы по-русски — в грязь да обновкою...»	32
Кровь	33
Офицер	34
В Помпее	35
Сердцебиение	36
«Как, зачем в эти игры ввязался...»	37
«Перекресток, где ракитка...»	38
Роман	39
«Второе рождение»	40
Беглость	41
Памяти Михаила Красильникова	42
Железо, трава	43
«Я и старая дама»	44
25 декабря 1997 года	45

III Сороковой день	46
------------------------------	----

**В поэтической серии «Автограф», издаваемой
«Пушкинским фондом», вышли следующие сборники:**

- 1. **Б. Ахмадулина.** Ларец и ключ
- 2. **В. Салимон.** Невеселое солнце
- 3. **И. Лиснянская.** После всего
- 4. **Ю. Кублановский.** Памяти Петрограда
- 5. **И. Бродский.** В окрестностях Атлантиды
- 6. **Н. Кононов.** Лепет
- 7. **А. Пурин.** Евразия и другие стихотворения
- 8. **Е. Шварц.** Песня птицы на дне морском
- 9. **С. Гандлевский.** Праздник
- 10. **В. Гандельсман.** Там на Неве дом...
- 11. **В. Дроздов.** Стихотворения
- 12. **Л. Лосев.** Новые сведения о Карле и Кларе
- 13. **А. Цветков.** Стихотворения
- 14. **Д. Новиков.** Караоке
- 15. **И. Жданов.** Фоторобот запретного мира
- 16. **Т. Кибиров.** Парафразис
- 17. **Е. Шварц.** Западно-восточный ветер
- 18. **Б. Ахмадулина.** Созерцание стеклянного шарика
- 19. **В. Салимон.** Красная Москва
- 20. **В. Зельченко.** Войско
- 21. **Б. Кенжеев.** Сочинитель звезд
- 22. **А. Битов.** В четверг после дождя
- 23. **Л. Лосев.** Послесловие
- 24. **И. Лиснянская.** Ветер покоя
- 25. **В. Гандельсман.** Долгота дня

Все книги серии тиражом до 1000 экземпляров.

Для приобретения указанных сборников обращайтесь
в издательство по адресу:

191028, СПб., Моховая ул., 20, помещение журнала «Звезда».

Информация по телефону: (812) 273-37-24

факс: (812) 273-52-56

Л 79

Лосев Л.

Послесловие. — СПб.: «Пушкинский фонд», 1998. — 56 с.

ISBN 5—85767—115—9

ББК 84. Р7

Лосев Лев Владимирович

Послесловие

«Пушкинский фонд», Санкт-Петербург, 1998

Редактор *Г. Ф. Комаров*

ЛР № 030 448 от 10 ноября 1992 года

Издательство «Пушкинский фонд»

191186, Санкт-Петербург, Набережная р. Мойки, 12

Подписано в печать 02.02.98 г. Формат 60×84¹/₁₆. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 3,5. Бумага офсетная. Тираж 1500 экз. Зак. № 41

Отпечатано с готовых диапозитивов в ГИПП «Искусство России»
198099, г. С.-Петербург, ул. Промышленная, д. 38/2.

